

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

«Все мы хлеб едим...»

Из жизни на Урале

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
М22

М22 **Мамин-Сибиряк Д.Н.**
«Все мы хлеб едим...»: Из жизни на Урале / Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк – М.: Книга по Требованию, 2012. – 42 с.

ISBN 978-5-4241-3366-4

Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.

ISBN 978-5-4241-3366-4

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

I

— Эх, отлично было бы закатить теперь в Шатрово, — говорил мой приятель Павел Иванович Сарафанов, отдувая пар со своего блюдечка. — То есть, я вам наивно доложу, после спасибо скажете!.. Ведь теперь какое время... а? Каждый день дорог, а мы с вами сидим здесь в N*, — пыль, духота, жар... Вы посмотрите, утра-то какие стоят — так вот за душу и тянет куда-нибудь в болотину за дупелями. У меня и собачка есть на примете: легашик, стойку держит и всякое прочее. Ей-богу! На левую ногу немного припадает, да это пустяки, со стороны даже и незаметно, а как пойдет по осоке... Ей-богу, поедemте в Шатрово?! Остановимся у попа, важнеющий поп, на всю губернию первый. Об отце Михее, может, слыхивали? Нет? Как же вы это так... Богатеющий поп, я у него по неделям гащивал. Кстати, у меня дельце есть в Шатрове, да еще не одно... Нет, завтра же поедem!

— Я с большим бы удовольствием, только на чем мы с вами поедem?..

— На чем?! Да вы только скажите одно слово: завтра, в три часа утра, я подъеду к вам на своей лошади, а вы только садитесь.

— Да ведь у вас нет своей лошади.

— Сегодня нет, а завтра будет.

— И экипажа нет.

— И экипаж будет... У меня ход на сарае лежит, а коробок есть на примете.

— И лошадь, и коробок, и легашик — все на примете; когда же вы успеете все это собрать?

— Ах, господи, господи, да вам-то какая забота: вы только садитесь, и конец делу. Ружье есть? Больше ничего не надо... Ружье да ноги, и шабаш. Да и без ног можно: раз я с одним чиновником на охоту ходил, — такой же жиденский из себя, как вроде вас, — так он у меня так развинтился на обратном пути, что я его верст пять на своей спине тащил. Ей-богу! А мы отлично погостим у отца Михея... Я уж знаю, чем старику угодить: парочку свеженьких дупельков привезу — да он меня расцелует.

Сарафанов был замечательный человек, начиная с своей наружности. Среднего роста, коренастый и плотный, он был некрасиво скроен, да крепко шит; в глаза издали бросалось его несоразмерно длинное туловище, поставленное на вывороченных коротких ногах с широчайшими ступнями. Небольшая голова была крепко посажена на могучей, короткой, всегда красной шее; длинные руки соответствовали остальному. Широкое лицо Сарафанова, обрамленное небольшой бородкой песочного цвета, всегда дышало добродушным спокойствием; маленькие светло-карие глазки смотрели улыбающимся пытливым взглядом, как у только что проснувшегося ребенка. На вид ему можно было дать лет сорок, в крайнем случае — сорок пять, а в действительности было шестьдесят с хвостиком. И ни одного седого волоска на голове; держался бодро, в ходьбе был неутомим, и во всех движениях замечалась гибкость и та упругая энергия, которая свойственна только юношескому возрасту. Одевался Сарафанов неизменно в длинный черного сукна сюртук и глухой, сильно потертый атласный жилет; туго накрахмаленные воротнички всегда упирались в подбородок, шея, несмотря ни на какой жар, была туго затянута шелковой черной косынкой, в манжетах

красовались большие малахитовые запонки в серебряной оправе. Вообще костюм Павла Ивановича не блистал свежестью, но всегда был чист, опрятен и с некоторыми претензиями на солидность.

Глядя на свежую, полную сил фигуру Сарафанова, трудно было помириться с мыслью, что перед вами стоит, ни больше, ни меньше, как приказная строка блаженной памяти уездного суда. А между тем это было так: Сарафанов отслужил в суде тридцать лет, с пятнадцати до сорока пяти, и теперь около пятнадцати лет состоял в разночинцах, занимаясь «делами», как он скромно выражался о своей деятельности. В своей сущности деятельность Сарафанова отличалась замечательной разносторонностью: он был в одно и то же время ходатаем по делам, комиссионером, столяром, охотником, поставщиком драгоценных камней, мыловаром и т. д. Он имел скверную привычку разом браться за десять дел и поэтому терпел постоянные неудачи, которые поглощали последние крохи его скудного бюджета. Чем неосуществимее было предприятие, тем сильнее к нему привязывался Сарафанов. Неудачи только воодушевляли его, и он с каким-то болезненным напряжением энергии переходил от одной спекуляции к другой: то начнет скупать старообрядческие старинные книги, то по пути прихватит партию рябчиков и замаринует их, то несколько месяцев устраивает какой-то ночлежный дом и т. д. Может быть, при других условиях Сарафанов сделался бы великим изобретателем и обогатил бы себя и других, но в тесных рамках захолустной провинциальной жизни он мог только задыхаться под наплывом жажды деятельности. Когда-то у него были свой домик, небольшое хозяйство, даже маленькая ферма, а теперь оставался только где-то за городом клочок земли, на котором он сеял какую-то мудреную американскую репу. Жил он на краю города, в крошечной избушке, старым холостяком и был беден, как церковная мышь, но никогда не терял душевного равновесия, вечно находился в самом оживленном настроении и, как мне кажется, был очень счастлив. Для других Сарафанов был золотой человек, потому что через него можно было достать решительно все на свете, — весь город ему был знаком и все было на примете: нужно вам козу — через час Сарафанов ведет ее за рога, нужна скрипка — и скрипка к вашим услугам. Для меня лично Сарафанов имел интерес, как живая история и география N-ского уезда: он знал всех наперечет и пешком, с ружьем за плечами, исходил его вдоль и поперек. Иногда он привирал для красного словца, но самая ложь у него выходила такой безобидной, — он сам верил ей первый. Даже в несчастной привычке употреблять иностранные слова, которым Сарафанов придавал свое собственное значение, не имевшее ничего общего с их действительным смыслом, он являлся только с комической стороны, и скоро можно было привыкнуть к его не особенно разнообразному лексикону. «Наивно» — в переводе значило «серьезно»; в этом же значении он употреблял слово «сентиментально»; «хаос» надлежало переводить — «глупость» и т. д. Только к двум словам, которые Сарафанов особенно часто употреблял, я никак не мог привыкнуть и часто принужден был отгадывать их смысл по аналогии — эти слова были «грация» и «цивилизация». Значение этих слов постоянно менялось, и вдобавок они часто ставились одно вместо другого. Приблизительно, слово «грация» можно было перевести словом «ловкость», иногда — «смелость», реже — «ум»; «цивилизация» попеременно обозначала то образование, то *comme il faut*. Когда Сарафанов начинал сердиться, эти слова означали даже «мошенничество».

II

Мои надежды на то, что Сарафанов не успеет управиться в один вечер с довольно сложной операцией покупки лошади, коробка и сбруи, не оправдались: ровно в три часа утра Сарафанов ворвался в мою комнату и заставил меня оставить постель. Он был в своем обыкновенном костюме, только на ноги надел длинные охотничьи сапоги да поверх сюртука набросил татарский аязм.

— Посмотрите-ка, какого рысака я завоевал, — говорил он, помогая мне одеваться. — Ах, батюшки, у вас и папиросы не набиты... Как же это? Ну да ничего, давайте-ка мне в сумку табак и гильзы, после набьем.

Сарафанов сложил табак и гильзы вместе с чаем и сахаром в свой «саквояжик», перекинутый на ремне через плечо, и еще раз проговорил:

— Нет, вы лошадь-то посмотрите...

Действительно, у ворот стояла поджарая киргизская лошадь с поротыми ушами и горбатой спиной; в новеньком с иголки коробке сидел хромой легашик, на дрогах, впереди и сзади коробка, были привязаны веревками какие-то сундуки. Сарафанов любил все устраивать хозяйственно, и без разных дополнений, вроде ящиков, узелков, сундуков, он был немислим.

— Конь в езде, друг в нужде, — уклончиво отвечал я, осматривая лошадь.

— В две пряжки до Шатрова доедем.

— Сто верст в две пряжки, на одной лошади?..

— А вот увидите... Мы тут свернем с тракту в одном месте; оно проселком-то на двадцать верст ближе.

Через десять минут мы уже выезжали из города.

— Как N*-то наш обстраивается, — говорил Сарафанов, когда наш коробок, как по ковру, мягко катился в стороне от тракта, среди соснового бора. — Истинно можно сказать, что город с цивилизацией... И раньше некоторые светло жили, а как подвели эту железную дорогу — все точно на ноги встали. Ей-богу! Откуда что пошло: адвокаты, инженеры, немцы, жида... очень грациозно!.. Прежде только бывало и свету в окне, что заводчики да золотопромышленники... Ну, горные инженеры, которые поумнее, нечего сказать, светленько поживали. Только все это было вроде того, как в темноте: один скачет, а тысяча плачут. Теперь взять хоть богачей, — страшные богачи были, а как жили: мужики мужиками, а захочет развернуться — глупость его мужицкая и объявится. Наивно вам говорю... То церкви устраивают, моленные, австрицких архиреев выписывают, то начнут шампанским дорогу поливать и гостей женским полом угощать. Всячины было, а настоящей цивилизации не было. Можно сказать, была одна темнота и хаос. Теперь и то взять: заведутся у кого деньги, они уж так из роду в род и переходят. Туго жили, всех богачей по пальцам пересчитаешь, а вновь никого.

— А нынче?

— Нынче залежных денег ни у кого нет, — сегодня беден, завтра богат... Богатство-то, как вода, так из рук в руки и переливается. Успевай ловить... Вчера в портерной сидел, пивом торговал, а сегодня едет: пара наотлет, на голове цилиндр, на носу пенсне. Вчера своими глазами видел такого хватя: иду от вас, а кто-то едет на паре и кланяется... А потом и вспомнил: Пиньджаков, в

портерной пивом торговал, а теперь золото моет. Вот какие дела-с! А пришел этот Пиньджаков откуда-то из Казани, извините, в одних портах. Наивно вам говорю! Одним словом, все поднялись на ноги, точно свет увидали, и свою дикость совсем оставили. Таких уж, пожалуй, и не найдешь, чтобы завелось лишних сто рублей, а он их в кубышку да в землю, да по двугривенному через год прибавлять, как ленивый раб; нет, нынче везде тонкость пошла: другому вся цена, ей-богу, полтина на ассигнации, а, глядишь, он водкой занялся, торговые бани открыл, номера с арфистками... Нет, не прежние времена!.. Прежде только и свету в окне, что горные инженеры, а нынче — шалишь, пороху супротив других не хватает. Теперь взять адвокатов или докторов: так на парах и зажаривают; или взять карты — ведь пустяки и даже грешно-с, а сколько у нас в N* этими картами живут... Очень малодушен нынче народ стал, особенно адвокаты: что сорвал, то и продал. Богачи-то, как пузыри после дождя: вскочит, покружится и лопнет.

А июньское утро вышло на славу: солнце не светило, а точно смеялось в голубом небе, где, как стада лебедей, бродили легкие серебристые облачка. Местность, по которой пылившей лентой вилась дорога, была слегка холмиста; по сторонам дороги давно тянулись бесконечные нивы, поля и луга вперемежку с светлыми, как транспарант, березовыми пролесками и кой-где еще сохранившимися гривками молодого сосняка. Осими колосились; яровые были еще зелены. Из густой зелени то и дело взлетали жаворонки; они несколько минут держались в струившемся благовонном воздухе на одной высоте, рассыпаясь звеневшими, как серебряные колокольчики, трелями, и камнем опять падали в траву. Попало несколько обратных почтовых троек; в стороне дороги, по утоптанным тропинкам, тянулись вереницы богомолок, спешивших в Екатеринбург к Тихвинской. Что-то невыразимо патриархальное чувствовалось в этой картине: мелькали загорелые истощенные лица, повязанные темными платками головы, котомки за плечами и длинные палки, но на этих испеченных солнцем грубых лицах лежала печать такого глубокого душевного спокойствия, глаза смотрели таким сосредоточенным, одухотворенным взглядом... Даже этот низкий поклон каждому встречному говорил сам за себя. Какие все славные русские лица!

— Ишь, как лопочут, — любовно говорил Сарафанов, раскланиваясь с богомолками. — По обещанию больше идет низменный народ, а кто побогаче, те на ярмарку или в гости. Монастырь в Екатеринбурге важнейший, и игуменья молодца.

Часов в восемь утра мы сделали небольшой привал у одного болота, где Сарафанов, пока лошадь щипала траву, успел убить штук пять дупелей. Стрелял он без промаха, но легашик оказался плох, — не выдерживал стойки и горячился. Убитых дупелей Сарафанов, не ошипывая пера, как-то особенно искусно завернул в широкие листья болотной травы и зажарил в золе. Это охотничье кушанье оказалось великолепным, и мы с большим аппетитом разделили его в тени молодых липок.

— Грешный человек, — говорил Сарафанов, кладя широкий крест на свою могучую грудь, — ни в среду, ни в пятницу, ни в пост скоромного в рот не возьму, а в поле не могу... И в грех себе этого не ставлю. Вы как насчет этого думаете?

Сарафанов отличался вообще большой воздержанностью, в рот не брал вина и не курил.

Дождаясь, пока лошадь отдохнет, мы от нечего делать болтали; легашик свернулся клубочком под коробком и дремал самым мирным образом. Овод начинал одолевать нашего киргиза, и он старался держаться под прикрытием едкой струи дыма от огня. Над болотом столбом играли комары, что служило самым верным признаком установившегося надолго ведра; пахло свежей травой, где-то звонко ковал кузнечик, и изредка начинал скрипеть в ближайшей осоке коростель, заставляя собаку вздрагивать и поднимать голову.

— Вот мы теперь едем с вами в Шатрово, — говорил Сарафанов, — а что такое Шатрово? Деревня, и больше ничего. Прежде самый, можно сказать, несмятый народ жил, совсем озерный, а теперь в Шатрове — вы чего думаете — тоже цивилизацией пахнет. Везде проснулся народ. А про заводы и говорить нечего: там голову-то, как гайку, отвинтят! Я замечаю про себя так, как эти самовары пошли по деревням, — ведь кажется, пустяки: самовар! — конечно, всю эту простоту, как рукой снимет. А как наладят чугунок на Тюмень, тут держись... Нам в N* эта самая чугунок много слез привезла, и, можно сказать, вышел чистый хаос: прежде все первый сорт крупчатку употребляли, а как она взыграла с шести рубликов за мешок на одиннадцать, — шабаш, даже попы — и те на второй сорт перешли. Некоторым чиновникам приходится совсем грациозно: жалованья в месяц двенадцать рубликов, семьяща... Ох, не смотрели бы глаза!..

К вечеру, когда солнце уже заметно начало клониться к западу и дневной жар спал, мы действительно подъезжали к Шатрову, которое стояло немного в стороне от тракта.

— Так мы, значит, к попу махнем, — говорил Сарафанов, поощряя кнутиком своего киргиза.

— Нет, лучше у кого-нибудь другого остановимся.

— А зачем отца-то Михея обижать?

— Чем?

— Да он мне проходу не даст, потому как человек самый гостеприимный, хлебосол... Вроде того, как Авраам под дубом маврийским. Наивно вам говорю. Богатенный поп: свой конский завод, хлеба тысячи три пудов лежит и угостить любит. А насчет разговору: как труба, так и режет, так и режет. Живет князь князем. На сто верст кругом все знают шатровского попа.

Несмотря на всю убедительность этих доводов, я все-таки настоял на своем.

— Вон оно, Шатрово-то, точно на блюдечке раскинулось! — проговорил Сарафанов, заслоня от солнца глаза ладонью.

Всякий, кто видал бесконечные равнины, тощие поля, болотины и убогие деревеньки средней России, взглянув на Шатрово с высоты, на которой теперь был наш коробок, вздохнул бы свободнее и подумал: «Вот где она, Сибирь — золотое дно!» Это была красивая картина: необозримая ширь полей волнами уходила на восток и тонула где-то далеко-далеко в синеватой дымке горизонта; на западе замыкали картину ряды холмов, покрытых лесом. По извилисту течению Шатровки можно было насчитать до пяти деревень; в одном месте виднелась какая-то фабрика с высокими кирпичными трубами. Самое село рассыпало свои домики по обоим берегам реки по крайней мере на расстоянии трех верст; большая каменная церковь стояла, как мать среди детей, в самом центре села.

Наш коробок мягко катился по узкой дорожке, минуя огороженные поля и

спускаясь к реке. Вот и первые избы, и широкая улица, и целая стая собак. Судя по наружному виду крестьянских построек, можно было вперед сказать, что народ живет здесь, как у Христа за пазухой, конечно не без исключений, в виде одиноких избышек, вынесенных к самой околице, где, вероятно, жили старики да солдатики-бобылки. Наш экипаж прокатился чуть не чрез все село, мимо каменной церкви, одноэтажного домика о. Михея, мимо волости и нескольких питейных; он остановился у старой, покосившейся избы, у ворот которой стояла высокая красивая девка в красном платке.

— Шептун дома? — спрашивал Сарафанов, с легким побряхтыванием вылезая из коробка.

— Дома.

— А что, Аннушка, как Шептун-то, здоров?

— Что ему делается... Не бойсь, не издохнет!

Анна была, что называется, девка кровь с молоком, с полными румяными щеками, крепкой загорелой шеей и могучей грудью; немного косою разрез карих глаз придавал ее лицу недружелюбное выражение, но оно смягчалось, когда она улыбалась, выставляя два ряда точно выточенных из слоновой кости зубов. Громадные красные руки и грязные босые ноги дополняли портрет этой деревенской красавицы, одетой в старенький ситцевый сарафан и розовую, тоже ситцевую, рубашку. На шее были надеты зеленые стеклянные бусы...

— А-ах, кошка тебя залягай... гладкая ты, а?! — бормотал Сарафанов, заглядывая на Анну. — А ты как Шептуну-то приходишься, умница?

— Никак я ему не прихожусь... Чего пристал, как сера горячая?

— А ты, Аннушка, не тово...

В это время в воротах показался сгорбленный седой старик в ветхой пестрядевой рубахе; он из-под руки посмотрел на Сарафанова, и по его выцветшим сухим губам проползло что-то вроде улыбки.

— Это ты, Павел Иванович? — медленно проговорил старик, не отнимая руки от глаз.

— Давай отворяй ворота да принимай гостей, — распорядился Сарафанов, здороваясь со стариком. — А ты, умница, наставь самоварчик поскорее. До смерти заморились. Чистый хаос, Аннушка!

— Ишь, как лошадь-то пересобачили, — говорил старик, отворяя с тяжелым кряхтеньем ворота. — Никак, прямо из городу?

— На обыденку, Шептун.

Пока Сарафанов переносил наш багаж куда-то в заднюю избу, хозяин с каким-то шепотом медленно распрягал лошадь. Я только теперь хорошенько рассмотрел его. Он был гораздо сильнее, чем казался с первого раза, хотя ему, видимо, перевалило уже на восьмой десяток. Старческое лицо, совсем серого цвета, с большим носом и жиденькой бородкой, производило неприятное впечатление, особенно когда он медленно останавливался на одной точке болезненно пристальный взгляд своих ястребиных серых глаз и начинал беззвучно шевелить губами. В руках у Шептуна была длинная черемуховая палка, на которую он должен был опираться, потому что ноги сильно ему изменяли.

— Ишь, как его нашептывает, — говорил Сарафанов, кивая головой на старика. — От этого самого и Шептуном прозвали.

Широкий крестьянский двор был окружен низенькими бревенчатыми по-

стройками: «стайки» (хлевы) для скота, амбары, сеновал; небольшая перегородка открывала вид на задний двор, где ходила хромая лошадь, и на длинный огород с низенькой совсем черной баней в глубине. Все пристройки и самая изба были покрыты по-крестьянски драницами, а не тесом. Широкое грязное крыльцо, крытое соломой, сильно покосилось и немного отстало от корпуса избы; под ним что-то живое визжало и хрюкало. На всем кругом лежала печать разлагающейся старости, и видно было, что некому приколотить отставшую доску и поправить покосившийся столб.

— А тебе кто будет Анна-то? — спрашивал Сарафанов, когда старик подошел к нам.

— Анна-то... А тебе на что?

— Да так я спросил. Раньше не видал, ровно, у тебя никого из баб-то...

— Анка работница мне будет. Хлебом кормлю, а она, стерва, за воротами все стоит...

— Та-ак... Такие ее годы, твоей Анки, что ей стоять, видно, за воротами!

III

Нам была отведена задняя изба, куда мы и прошли.

— А это у тебя что? — спрашивал Сарафанов, указывая старику на валявшиеся по столу и по лавкам книги, на висевшее на стенке ружье, чей-то сильно подержанный казинетовый сюртук и старый пагронташ.

— Это... А это Лекандра живет у меня, так его муниципия, — равнодушно объяснил Шептун, остановившись у порога.

— Какой Лекандра?

— Да учитель наш, Лекандра... Отцу Михею сын приходится.

— А, помню... Из лица немножко шадрив?

— Он самый... Лекандра ничего, он на сарай уйдет, пока вы тут поживете.

— А почему он у отца не живет, ваш учитель?

— Кто его знает, пошто он у отца-то не живет... Видно, у меня глянется лучше, — с улыбкой прибавил старик. — Ноне ведь все это мудрено пошло, не разберешь никак.

Постояв немного в дверях, старик вышел из избы. Через несколько минут донесся его ворчливый голос:

— Анка, Анка, куда ты запропастилась?! Собирай скорее чай господам...

— Чай, не рассохнутся твои господа: подождут, — откуда-то из глубины двора донесся голос Анки.

Когда мы через полчасика сидели уже за самоваром, в комнату вошел сам Лекандра. Это был небольшого роста господин, в парусинном пальто, казинетовых широких панталонах, заправленных в сапоги, и в розовой ситцевой рубашке-косоворотке. Он был действительно «шадрив», то есть его круглое добродушное лицо с небольшими близорукими голубыми глазками было сильно попорчено оспой. Пряди белокурых волос, мягких, как лен, выбивались из-под сдвинутой на затылок кожаной фуражки и падали на лоб; пушистая с красноватым оттенком борода придавала физиономии Лекандры самый добродушный вид. Когда он улыбался, что-то неуловимо детское светилось в этом круглом лице, и в голове невольно шевелилась мысль: «А ведь я где-то видал этого Лекандру».

— А, Никандра Михеич, сколько лет, сколько зим не видались! — приветствовал Сарафанов учителя. — Здоровенько ли поживаете?

— Прыгаем помаленьку, — с улыбкой отвечал учитель, снимая фуражку.

— А отец Михей какво здравствует?

— У отца Михея чахотка, еле дышит...

— Ах, уж вы только и скажете... Ей-богу! А мамынька ваша?

— А вот пойдешь к ней, так сам и увидишь.

— Конечно, пойду... Ежели обходить этаких почтенных людей, да тогда и жить незачем. С нами чайком побаловаться, Никандра Михеич?

Учитель не заставил себя просить и сел за стол, рядом с Шептуном. Сарафанов познакомил нас и сейчас же распространился о чудесах N-ской цивилизации, о людях с «грацией» и о всеобщем «хаосе». Мне очень понравился учитель. Он держал себя как-то особенно просто и с тем неуловимым оттенком собственного достоинства, когда человек настолько доволен и собой и своим общественным положением, что не имел нужды ни прибавлять, ни убавлять ни одного вершка

собственного роста.

— А я, Павел Иванович, женюсь, — добродушно говорил учитель, раскуривая папиросу.

— Поди, на какой учительше? У вас ведь все это по-ученому делается...

— Нет, не на учительше, а на Анке. Вот та самая, которая самовар вам подавала.

Сарафанов даже раскрыл рот от удивления.

— Спроси хоть Шептуна, — продолжал учитель.

— Чего тут спрашивать, — ворчал старик. — Только ты, Лекандра, еще рылом не вышел, чтобы тебе на Анке жениться.

— Это уж не твоя забота.

— А то чья же? Не по себе дерево выбрал... Какой ты есть человек, ежели тебя разобрать: ни ты барин, ни ты мужик. Сегодня ты здесь чай вот с нами пьешь, а завтра тебя и след простыл... У мужика изба своя, обзаведение, земля, скотина, а у тебя что? Куда тебе, такому, на Анке жениться...

— Вы все шутите, Никандра Михеич, — сказал Сарафанов, пытливо и в недоумении поглядывая на учителя.

— Нет, серьезно, женюсь. Осенью свадьба.

— Не может быть... — уже слабо протестовал Сарафанов, все еще не веря своим ушам. — Как же отец-то Михей будет? Один сын доктор и три тысячи жалованья получает, другой — прокурор и тоже три тысячи, три сына в университете... Чистый хаос! Нет, уж ты, Никандра Михеич, пожалуйста, оставь эту задачу. Наивно тебе говорю. У Анки свой предел, а у тебя свой... Я тебе вот что скажу: есть у меня на примете одна поповна, — ну, отдай все, да и мало! Всем взяла: вроде как вишня или малина.

— Вот ты и женись на ней, — предложил Лекандра.

— Ах, господи, господи... Вы все шутите, а как тятенька с мамынькой, ежели вы им этакой камуфлект подстроите? Ведь это, можно сказать, всей вашей природе будет одно поношение-с... Вы только то подумайте: один брат доктор, другой прокурор, три в университете... Люди все с грацией, образование... Да вы шутите?

— Нет, право, не шучу. Приезжайте на свадьбу.

Когда после чая вопрос зашел о том, как мы расположимся, учитель предложил мне спать на сарае, потому что в избе было и душно и «насекомисто», как он выразился. Сарафанов остался в избе и даже забрался на полати.

Стояла душистая летняя ночь последних чисел июня. Мы с большим комфортом расположились на свежем сене, только что снятом с огорода. Делалось даже неловко от одуряющего запаха душистых трав. Где-то лаяла собака; неугомонные петухи перекликались через всю деревню; простучала на улице телега. Сеновал был покрыт полусгнившими драницами; между ними сквозило синими полосками ночное небо. В одном месте заглядывала искристым фосфорическим светом мигавшая звездочка, точно любопытный детский глазок. Я думал о Лекандре, который, свернувшись клубочком, лежал в двух шагах от меня.

— Анка, Анка... чтобы тебя разорвало, окаянную! — доносился откуда-то сдержанный голос Шептуна.

Опять тихо. Где-то далеко-далеко встает обрывок песни, и опять мертвая тишина, прерываемая смутным, неясным шепотом ночи... Ночная ли птица